

Николай Успенский

# Старуха



# Николай Васильевич Успенский

## Старуха

«На улице совсем стемнело; дождик перестал; только слышались с крыши капли. На селе в разных местах мелькали огоньки. Старуха и купец пришли в избу; в ней у стола ярко горела лучина, воткнутая между зубцов длинного светца; на лавке у окон сидела дробенькая девочка лет тринадцати в запачканной рубашонке и держала на коленях беловолосого жирного мальчика в ситцевой рубашке...»

**Николай Васильевич  
Успенский  
Старуха**

Был сентябрь в исходе; вечерело; шел дождик. В середине села Горемыкина, перед грязным мостиком с изломанными перилами, по ступицу в грязи стоял длинный обоз с рогожами. От усталых лошадей валил пар, некоторые из них встряхивались, громыхая уздами и бляхами на шлеях; иные вытягивались, перекашивали свои челюсти и заносили морду вверх, чтобы вытянуть из переднего веза торчавший клочок сена; а иные уныло поглядывали на постоянные дворы, от которых неслись хриплые голоса дворников[1], сидевших на крылечках в нагольных тулупах: «Ночевать пора, ночевать!»

Извозчики, стоявшие по бокам обоза, молчали. Из дворников никто не двигался с места и не решался подойти к ним, понимая всю важность пропасти, утвердившейся на улице. Наконец, спустя немного времени, один из них, с рыженькой бородой, соскочил с своего крыльца и, хляская ногами, подбежал к извозчикам.

– Что же?.. Пожалуйте, – заговорил он, – просим милости; двор просторный, чистый, никого нет... изба теплая – с трубой.

И дворник показал на трубу.

– Овес почему? – спросил один извозчик.

– Лишнего не возьмем, – произнес дворник. – Поворачивайте.

– Да что поворачивать... ты скажи, овес-то почему?

– Экой чудак! думает, что его тут облупят. Ну, обыкновенно, семь гривен; поезжай куда хошь – везде равно.

– Нет, не равно: в Яшках небойсь мы платили по шести.

– То в Яшках, а то здесь, – продолжал дворник, – разя мы строим? чай, бог. Трогайте, ребята... любо будет.

– Да Яшки-то отсюда всего десять верст; в Камчатке они, что ли?

– Ну будет толковать: шесть гривен и я возьму; да уж овес какой, парень! истованное золото. Задвигайте.

– Задвигать-то задвигать, – произнес другой извозчик, снимая шляпу и почесывая виски, – да раненько.

– Какой раненько? ночь на дворе. Нешто дальше поедете?

– Неужли ж тут останемся? десять верст

отъехали, да и ночевать? – подхватил третий извозчик.

– В гибель такую... – покачивая голову, говорил дворник, – разя не видишь, что это такое? каторга... давеча один купец бился, бился, – так и остался у меня ночевать.

– Ты нам не указывай, мы знаем без тебя...

– Как знаете... А куда, примерно, трафите?

– В Калугу.

– Подряду везете?

– Подряду.

– А то задвигайте, ребята: ночью прихватите, не совсем ладно; грязь, слякоть... упаси господи.

– Эй, Петруха, трогай! – раздался голос сзади обоза.

– Пехра[2], пропади вы совсем, – забормотал дворник, направляясь к двору. – Только знает, как бы погоддить, набить цену. Поезжай! Авось держать не стану... калянется, как ахремовский мужлан.

Обоз тронулся. Дворник, взошедши на свое крыльцо, увешанное лаптями, котелками и большими кусками сырой баранины, принялся обчищать лучинкой сапоги. На лавочке, об-

локотясь на резные перила крыльца, сидел купец в калмыцком тулупе, покрытом синим сукном, и курил сигару.

– Грязненько, – сказал купец, глядя на сапоги дворника.

– Есть... – помолчавши, произнес последний. – Народец, пропасти на вас нет... выбежишь – думаешь: будет прок; а он почешет с тобой зубы и завернет рыло на сторону.

– Русский мужик любит покалянитья[3], – проговорил купец и отплюнул в сторону.

– Еще как любит-то: иную пору ломается, ломается, из себя выйдешь. – «Фаддей Семёныч! хоть трыночку сбавь, хоть грошик...» А не знает, что тут грошика если не возьмешь, – разоришься, кругом разоришься; а для меня таперича он копейку, другой копейку... говорится пословица: «С миру по нитке...» Эко грязь, притка тебя возьми... никак не отскоблишь.

– Это справедливо, – сказал купец, закинув одну ногу на другую. – Вот теперь, куда ни поворачни, наш брат то же самое...

– То-то и есть, – приподнявшись, заговорил дворник – эхти-хти... век жить – не орех

грызть... что это зачерствел как ситник-от? надо отдать его распарить – работники съедят, – заключил он, снимая с полки хлеб.

Купец молчал.

– Вы где спать будете, Иван Осипыч? – спросил его дворник. – Если угодно, так на сеннике; там важно...

– Нет, признаться, я боюсь на сене спать: говорят, в нем бывают разные веретеницы и казюльки всякие. Оно, может статься, и впрямь: обыкновенно, сено, значит, привозят с лугов; а на лугах, бывало, ходишь, сколько их под ногами!.. кишмя кишат...

Купец отплюнул.

– А мы вот всё на сеннике бесперечь... и то сказать, как намаешься день-то, забудешь про веретениц и про все...

– Где-нибудь лягу, не беспокойтесь.

– Да у нас, слава богу, есть где лечь, кроме сенника: дом, кажись, не маленький... Чушь, куды, куды, гладкая, чу-ушь!.. – завопил вдруг дворник на свинью, которая из сеней заносила свою ногу на крыльцо. Через минуту свинья и дворник скрылись в сенях за дверью.

Купец погладил свою бороду.



– Здравствуй, касатик, – всходя на крыльцо, произнесла какая-то старуха с мутными впалыми глазами, одетая в дырявый зипун и повязанная истертой, мокрой тряпицей.

– Здорово, бабка, – сказал купец.

Старуха молча вынула из-за пазухи красную деревянную чашку, поставила ее на лавку и, покряхтевши, села.

Дождик усилился; с повети потекли ручьи; загудела подставленная к крыльцу кадушка. На улице с мокрым платком на шляпе быстро проехал мужик в порожней телеге, от которой летели в разные стороны брызги; под крыльцом брехнула собака и с визгом заежилась от пробиравшегося к ней дождя.

Купец запахнулся полою тулупа.

– Эк, какой полил!.. – сказал он, глядя на дорогу.

– Да; так и хлещет, – заговорила старуха. – Теперь других мужичков застанет в поле... ишь, зги не видать... Как бы, избави господи, хлебушек не попрел. Старуха вздохнула.

– Ты чья? – спросил ее купец после небольшого молчания.

– Да я здешняя, кормилец, – горемыкин-

ская; а живу за этой слободой, туда... назади, недалеко от этой церкви. Можя, когда проездом видел нашу слободу; барский дом там стоит... высокий, каменный; в нем никто не живет.

– Отчего ж так?

– Да барыня-то наша в Москве.

– А при вас, значит, управитель или староста?

– Управитель и староста – оба.

Купец и старуха помолчали.

Из сеней отворилась дверь, и на крыльцо вошла толстая высокая дворничиха, во всем ситцевом.

– У! какой... – глянув на дождь и сморщившись, произнесла она.

– Да, хорош; дробен дождик... – проговорил купец, доставая из пачки сигару.

– Здорово, Кузьминишна! – сказала дворничиха приподнимавшейся старухе. – Что ты?..

– Да все к тебе, родная моя; вот творожку пришла попросить ребятенкам: голодают ни на што не похоже... не откажи, матушка, – кланяясь, говорила старуха.

– Ладно. Я вот подою коров, кстати и молочка дам.

– О кормилица ты наша! дай бог тебе здоровье! Век буду молить.

– Не видали тут нашего малого? – перебила дворничиха, обращаясь к купцу.

– Он давеча лошадей вел на реку поить.

– Пропал, шельмец, – пробормотала она и, повернувшись, ушла в сени.

Купец закурил сигару.

– Ай у вас коров-то нет? – спросил он старуху.

– Да нетути, сударик, – третий год никак не обигорим коровенки; телочка одна... восьмой месяц пошел с сердохрестной[4] недели.

– Не на что, видно, купить?

– Вестимо, не на што: живу в чужой семье, кормилец, с своей невесткой; бедность...

– В чужой семье?

– В чужой, родимый, – жалобно произнесла старуха.

– Отчего так?

– Да двух сыновей отдали в солдаты, касатик мой; старик помер, невестка вышла за другого, – осталась я одна; меня и перевели в

их семью. Колочусь теперь с малыми ребятенками. Просилась было на птичный двор, – приказчик не позволяет, говорит: без тебя птичницы есть.

– Гм... А за что, примерно, сыновей отдали?

– Да кто знает, кормилец... отдали – и все тут. Одного, младшего-то, полагать надо, отдали за дело; а другого – как есть ни за што, так-таки ни за што, родимый мой.

– Ну, верно, качества какие-нибудь строил?.. За какое дело младшего отдали?

– Вишь... как бы тебе сказать... да если бы старшего не отдали, и младший не пошел бы.

– Каким же манером?

– Да так, касатик.

– Ну, за что старшего отдали?

– Я тебе баяла, желанный мой, что ни за што, вот как есть ни за што: диви б мужик был плохой, а то работающий мужик-то; бывало, чего-чего он... – на все горазд: и плотничал и того... санки ли сделать, другое ли что... Без него мы были как без рук. Опосля он бросил все, ничем не стал заниматься, это перед солдатчиною-то: ходит как помешанный; а то пропадает, уйдет куда ни на есть, неделю це-

люю не показывается домой, – да что я? больше недели; вот словно чуял... вестимо, не перед добром...

Старуха понурила голову и вздохнула.

– Вишь ты, – снова начала она, – это было Михайловым днем[5]: женили мы его; сыграли эту свадьбу; глядь-поглядь, примечаем: молодая, жена-то его, – красивая была, бог с нею, баба, – его недолюбливает и так совсем вот не ластится. А он, сердечный, был на лицо не совсем гож: оспа, еще когда он был махоньким, всего изуродовала. Да ведь и то сказать, кормилец, что не родись хорош-пригож, а родись счастлив. А он, голубчик мой, соколик ясный, родился непригож, да и несчастлив.

– Так, так, – вникая в слова старухи, сказал купец.

– Все ничего. Ну, она это, значит, его недолюбливает; уж видим все, что недолюбливает: за обедом ли сидит... хоть бы те одно слово промолвила. Он к ней там зачнет: «Что ты, Варвара Борнсьевна? – ее звали Варварой, – что ты невесела?..» – кусочек ей подложит. Он ее любил и уж н-и... вот как любил! перед богом... А она, касатик, все нет, да и на поди...

такая мурогая завсягды. Вот как обжились они, Петруша, – его звали Петрушей – начал следить за ней: нет ли, дескать, на сердце кручинушки али зазнобушки, не любит ли она кого. Подмечает раз, другой – все нет... и виду никакого... на работе такая же, как и дома. Ну, тем и кончилось, что нет да и нет. Вот раз к нам приходит староста и говорит... дело было летом... «Петр Семеныч, говорит, – это приказчик, – велел вашей Варваре собираться на барский двор, и муж, говорит, пускай придет с ней». Думаем промежду себя: «Зачем это?» У нас о ту пору все были дома, и она и Петруша. Старик говорит: «Что ж? сходи, Петруша; за чем-нибудь понадобился; авось он тебя не съест». Петруша надел зипун, собрался это: «Ну, говорит, Варвара Борисьевна, пойдём прогуляемся»; шутник был, голубчик мой. А она на него так и зевнула: «Да ступай, говорит, лихоманка тебя возьми», и черным словом его... «Ступай один; без тебя дорогу знаю». Старик в это время ковырял лаптенки, сидел на конике[6]; обидно ему, стало быть, показалось; да как же не обидно? грубая... известно, баба, кормилец. Сидел, сидел, жалко ему ста-

ло Петрушу, да и молвил: «Когда ты, Варвара, будешь умна, за что всегда зычишь на него? иной бы тебя, говорит, чем ни попададя...» – и побранил ее. Она невзлюбила: должно, не по нутру... накинула зипун, повязала платок писанный, – она все в писанных ходила, – и хлопнула что ни есть мочи дверью. Старик мой покачал, покачал головой – и только. «Жалко, говорит, Петрушу, – смерть жалко!..» Вот они ушли к приказчику, а мы ждем; помню, я тут качала на обрывке ее мальчика, это невесткина-то: сижу... качь да качь... Смотрим, приходит он один уж перед вечером.

– Так. А вы всё поджидали?

– Да, а мы всё поджидали. «Ну, Петруша, за чем?» – спросили мы. «Да что, говорит, приказчик оставляет Варвару на кухне работницей; ласково таково со мною обошелся: „Я, говорит, с твоего согласия... если не хочешь, как хочешь; у меня ей будет хорошо; я хошь платы не положу, зато от работы ослобоняется. Известно, когда понадобятся ей деньги, я дам и деньжонок; платок коли куплю“». Мы подумали... «Что же, говорим, отчего не так? Приказчик, знамо, если захочет, и так возьмет ее

к себе – насилкой; а коли добрым словом молвил, так и быть по сему; хошь одна баба была в доме, да ведь и при ней-то, подумали мы, не красно было: иногда сердце изнывает, глядячи на ее грубости». – «Если ты, Петруша, – это говорит старик, – соглашаешься, так, пожалуй, и мы согласны. – „Отчего же, говорит, не согласиться! Я рад, что ей это по ндраву; почему что, когда мы выходили от приказчика, она на меня: „Живи, говорит, Петька, да не тужи“, – это она-то ему, – и ухмыльнулась... Она его все Петькой называла. „Что ж ко мне, Варвара Борисьевна, часто будешь ходить?“ – спросил он ее. Она опять засмеялась, да и сказала: „Разя на деревне баб мало, окромя меня?“»

– Вор-баба, – произнес купец, разевая рот и осеняя его крестным знамением.

– Что и говорить, кормилец! – продолжала старуха, утирая нос рукавом, – какая вор-то; вот послухай. Ну, это она живет у приказчика; а я забыла сказать: старику моему не совсем хотелось отдавать ее; еще перед этим он говорил: «Не годится, мол, отпускать»; да и тут же баял, что поперечить приказчику не



ладно: пожалуй, ссору заведешь с ним – и не приведи господи... Он же у нас был зелье такое... теперь его сменили. Ну, живет она у него месяц, другой, – глядим, баба переменялась, право! словно вот тебе другая стала: разбитная такая... в кура-годах, в гульбищах бесперечь... поет, пляшет... просто совсем другая; а запреше с ней и этого не бывало. Только вот что сделалось... одна беда: Петрушу она совсем кинула.

Старуха замолкла.

– Вишь... это, изменила... Ну, ну, – проговорил купец, – скажи-ка ты мне: приказчик холостой был али женатый?

– То-то что нет, кормилец.

– Смекаю... – сказал купец, доставая третью сигару. – Ажио ль вор и приказчик; штука, я вижу...

– Известно, – продолжала старуха, – наше дело темное... кто знает?.. я уж тебе буду говорить по порядку, как было: знамо, судить – не наше дело; а что одно я знаю, желанный мой, Петруша пошел ни за что.

– Рассказывай, рассказывай!

– Вот ладно. Не забыть бы тебе: у меня был

другой сын, меньшей, я тебе говорила; он был в то время парнюгой, – Григорьем звали. Важнейший был; только, как бы тебе сказать, угрюмый такой завсягды. Тот-то веселый; а этот, кормилец, нелюдим больше: николи он не причешется и умывался редко. Бывало, перед праздником говоришь ему: «Ты бы, Гриша, подрезал виски-то, вишь какие лохмы, да причесался»; тряхнет головой, бывалыча – и вся недолга. Не любил чисто ходить; а славный был сынок, соколик мой ясный: николи грубого словечка не скажет. И с тем-то братом, с Петрушей-то, жили они душа в душу – неразрывно: куда один, туда другой. Тот, старший, на задворке, бывалыча, сидит, санки строит да прибаутки читает, а этот супротив его... Придешь к ним, они как раз перестанут балясничать и оба примутся за работу; да я все видела, все знала, что они делают. Вестимо, сударик, мать: своему детищу не чужая. Голубчики мои, лебеди мои, оба спорхнули, улетели, бог ведае куда. Оставили мать-старуху мыкать горе... Господи, царь небесный!..

Рассказчица отерла свои глаза концами го-

ловной тряпицы.

– Вот как сейчас вижу их, – произнесла она и замолчала.

– Известно, дело материнское... жаль... – сказал купец. – Так что же приказчик-то?

– Сейчас, кормилец, – продолжала старуха. – Ну вот, что бишь?.. Варвара-то сначала ребенка у себя на барском дворе держала; а то однова, праздником, принесла его к нам в люльке и говорит: «Пускай он у вас будет; мне неколи за ним ходить: работищи пропасть, говорит, с утра до ночи ног не слышу». Мы взяли ребенка: худиций такой сделался, зачиврил вовсе. То ходить было начал, когда у нас был; ато поставишь его на ножонки, а он так и гнется, так и подгибается, как плетка, сердечный, – рубашка на нем закорюзла. Старик тут сказал невестке: «Ты, мол, наведывай ребенка-то, да не забывай, что у тебя и муж тут». А слухи, кормилец, пошли нехорошие: кто е знает... начали болтать на боярщине разные разности. О ком толк? Все, бывалыча, об нашей невестке: в приказчицы, говорят, попала, такая-сякая... касят е ни на что не пбхоже. Петруша приуныл; ходит повеся го-

лову. Только одна старик и говорит ему: «Не сходить ли, Петруша, к приказчику, да не взять ли бабу-то?» А Петруша молвил: «Хорошо, как даст он ее теперича». Тут старик как гаркнет: «Как, говорит, не даст? Я ее насилькой вытащу оттуда». – Так и расходился старик-отмой. Это с ним бывало редко: знать, задело за живое... а уж ума... ума палата... перед господом... уж такой-то был ум, что и-и-и... я его смерть боялась; так-то...

– Дело известное, муж...

– Как же можно, сударик, знамо... Вот Петруша говорит: «Нет, батюшка, не тронь ее: почему знать? можа, она и ни в чем не повинна; мало что говорят... мужик дурак: соврет, и слухать нечего. А вот, говорит, я буду подсматривать за ней; уж во что ни станет, всю подноготную открою». Старик промолчал. – Опосля я узнала, что Гриша – меньшей-то – сделал вот что: я говорила тебе, что они с Петрушей жили душа в душу, ну, и стакнулись, должно, между собою: каким ни было побытом разведать все. Так Гриша, я узнала, сделал что же? Раз зимою, только что выпал второй, не то третий снежок, он пришел на бар-

скую кухню к невестке, известно, проведать, – пришел, да и залег на печку; говорит, издрог до смерти, сем погреюсь. – Приказчик был дома; невестка сидела за столом, вышивала подзатыльник[7] и потихоньку наигрывала песню. Вот Гриша лежит, да и высматривает: не придет ли в кухню приказчик, да не выйдет ли чего? А притворился, что спит, – уж он не раз так делал, да все не удавалось, что ли, не знаю, а тут случилась какая оказия: вдруг входит в кухню приказчик; высокий был такой; прямо осмотрелся кругом и подходит к невестке, а сам ухмыляется и ловит ее... хочет обнять; то-то грех, кормилец...

– Это приказчик-от?

– Да, он.

– Затейник ажио ль был; нечего сказать. Ну, что же?

– Только невестка вдруг заморгает ему... так, вишь, и встрепенулась – и указала рукой на печь. – Он, приказчик-то, повернулся, глянул на печь и вышел вон. Гриша как раз, не будь дурен, прибежал к Петруше, да и все рассказал. А мы эвтим делом с отцом ничего не знали. Слышу послышу, Петруша уж был у

приказчика, отпрашивал Варвару. Дело было так: пришел он к нему и говорит: «Петр Семёныч! отпустите, говорит, жену, не терзайте моего сердечушка, что вот так и так...» Приказчик только слышал эвти речи, как затопает, как загорланит: «Как, говорит, что?.. перед кем ты?.. смеешь... зазнался, говорит, захрюкался...» – да так его в шею и прогнал, совсем прогнал.

– Ну, а что же старик-то?

– Дальше, больше, тут перед заговеньем старик мой захворал: горячка сделалась; одно к другому. Петруша мой совсем руки опустил, словно кто ворожбу навел на него: мрачный такой. Глядь-поглядь, – слышу он побил жену. А за что побил? Известно, как, разузнавши все ее шашни-то, стал говорить ей, чтобы она сама сошла от приказчика; а она и говорит: «Мне и тут хорошо»; он начал ее ругать, выпытывать у ней, правда ли, что она живет с приказчиком, аи нет?.. Согрешенье, сударик... увещать стал, это счунять[8]; а она отвернулась от него, ругнула и пошла: «Харя твоя дурацкая, говорит, шут тебя с кудахтал, дурака этакого». Он, вишь, стоял, стоял, да как пу-

стится за ней, истованный[9] тот... догнал ее у барской конюшни и давай буздать[10]... что сделаешь, касатик? И поколотил ее; поколотил, желанный ты мой, да и закаялся: уж как за это ответил-то, господи!.. Заутра приказчик призывает его к себе: «Ты как, говорит, смеешь бить жену? Знаешь, она тебе закон, то, другое...»

Вот... а старик все лежит; лопочет бог ведает что; горячка, вестимо дело, нешто она шутит; извелся, бедный, словно сухая былинка. Вот, кормилец мой, смотрю: наране Петруша пропал, сгинул совсем... ни дома, ни на боярщине – нигде нетути: пропал... Проходит день, все нетути; я спрашиваю у Гриши: «Не знаешь ли, куда подевался?» А он: «Сам, говорит, ума не приложу»; староста приходит, спрашивает: «Куда того...» – «Сами, говорим, не знаем».

Только одна, поздно вечером, сидели мы вдвоем: я старику давала пить, а Гриша шлею чинил. Откуда ни возмись, входит Петруша, хмельный, расхмельный, – и так вот его и швыряет в стороны. «Здорово, говорит, матушка-кормилица, как живешь?» А сам все

шатается по избе. Мы ему тут инды как обрадовались; Гриша вскочил это, бросил шлею и прямо к нему... Петруша говорит: «Давай, Гриша, поцалуемся». Стали целоваться. Потом подошел ко мне и со мной поцаловался. Я ему говорю: «Где, мол, Петруша, пропадал?» А он махнул рукой и молвил: «Там гулял, говорит, матушка, куда ворон костей не заносил». Я вижу, что допытаться у хмельного трудно, не стала спрашивать, а только сказала: «Поесть не хошь ли, Петруша? Чай, проголодался?» – Мы о ту пору хочь и поужинали, а я тогда в залавке[11] на всякий случай спрятала картох; да, признаться, и есть-то было некому. Он говорит: «Нет, матушка, картох я не хочу, а вот спать хочу». Мы: «Ну приляг, говорим, себе, приляг, касатик». Он брякнулся на хоры [12] – это подле отца – и захрапел. А две недели пропадал. Приказчик про это знал; да как не знать? И раза два уж посылал старосту искать его; но, знамо, не нашли. Он все бродил по постоянным дворам, а то больше по заводам. Недалече от нас тут заводы: один винный, а другой сахарный.

– Так он на винном больше? – сказал ку-



печь, заслоняя ладонью рот, чтоб унять зевоту.

– Право слово, не знаем, кормилец; может, больше и на винном.

– Так что же? ты говоришь, он пьяный пришел.

– Да, да, пьяный. Лег он это заснуть, уснул; немного годя и мы легли. Ребенок у нас о ту пору не кричал, здоровенький такой был: поправился, живучи у нас, и спал он со мною. Ну полеглись все, старик все лежит в забытьи: нет, нет – да и забормочет... Вот рано-ранешенько встаю я; слышу, вторые петухи... оделась это, засветила лучину, подхожу к хорам – хватать, Петруши нет. «Господи, батюшка, не ушел ли опять? – думаю себе. – Разя на задворке? да зачем? незачем бы ему туда: еще рань какая...» Одначе я не утерпела: взяла, накинула полушубчишко и пошла на задворок. Темно, никого не видать; я на задворке-то дай его кликать, это гаркнула разов пяток: мол, Петруша, а Петруша!.. нет, не откликается, и нигде ничего не шелохнет... только куры спросонья трюкают... как мне стало тошно! перед господом богом... скука одолела такая...

Рассвело. Петруши все нет; Гриша пошел

его искать; искал долго – не нашел. Вот тут, кормилец, подступило к нам такое горе, такое горе, что и-и сказать нельзя... вишь ты: на другой день, это, значит, после второго побега моего Петруши-то, на барском дворе у скотницы пропали деньги, и диви бы маленькие... ажио триста рублей. Э-э... ну... того... скотница эта, старушка, бог с ней, была добрая такая и бережливая.

– Откуда же у ней такие деньги?

– Вестимо, касатик, копеечками собирала: то вытчет холсты кому, выбелит, то тальки [13] прядет, бывалыча, па сторону, и что дадут ей за работу – она все в сундук да в сундук; в холсты завертывала. А все это она для своей дочери: дочь была лет уж, почитай, двадцати; только сватались за нее как-то плохо; не то чтобы она, как тебе сказать, была полуумная; а вот с дуринкой больше, но смирная и работающая, нечего таить. Ну, пропали деньги, сгибнули совсем и невесть куда. Скотница тут сейчас к приказчику жалиться... что так и так, сударик, пропали; а сама и-и плачет, и-и голосит. Как же можно, – жалко, родимый. Только приказчик выслушал ее и говорит:

«Ступай, я знаю, кто это поддел...» Смотрим, он идет к барыне в Москву, что вот мужик Петр, говорит (мой Петруша-то), блажит, распутничает, бьет жену, пьянствует, находится в побегах. В другой, говорит, побег, – в тот денек, когда он убежал это, – у скотницы пропали триста Рублев, ну и там... что окромя некому: все мужики, говорит, хорошие: только вот один напался блажной; его надуть в солдаты беспрерывно. Известно, сердит был, родимый ты мой; гнал, что ни на что не похоже. Сколько раз добирался до него, – говаривал старосте: «Найди, мол, ты мне его; пропасть ему некуда...»

– Однако того... – сказал купец, выгибая спину и заводя руки за затылок, – не пора ли на боковую...

– Чай, день-то нахмытался, касатик, – проговорила старуха с видом участия.

– Досталось. Пойдем, бабка, в избу; холодновато, кажись. Я вот в тулупе озяб, а тебя, чай, в кафтанишке пробирает напорядках. Пойдем погреемся.

– И то, родимый. Оно, вестимо, наше дело крестьянское: иногда бывает такая

стыть... знамо, привычка... а студено и теперь: напуце вот ноги *околели*...

На улице совсем стемнело; дождик перестал; только слышались с крыши капли. На селе в разных местах мелькали огоньки. Старуха и купец пришли в избу; в ней у стола ярко горела лучина, воткнутая между зубцов длинного светца; на лавке у окон сидела дробненькая девочка лет тринадцати в запачканной рубашонке и держала на коленях беловолосого жирного мальчика в ситцевой рубашке: он ел из горшочка молочную кашу, кривлялся и поминутно съезжал с коленей своей няньки.

Старуха, поклонившись на все четыре угла широкой избы, медленно села на край коника.

Купец снял с себя тулуп, положил его на хоры и, оставшись в одном жилете, из-под которого выбегала в складках дикая ситцевая рубашка[14], проговорил: «Господи, благослови!» – и завалился на боковую.

У печи в это время хозяйский малый с широким лицом, обложенным пушистой бородой, в полушубке и с палкой в руке – вел раз-

говор с бабою над лоханью с помоями.

– Ну, чего ты гогочешь? – говорил он бабе, закрывавшей свои губы передником.

– О, провалиться тебе! – щуря глаза, бормотала баба. – Хи-хи-хи, ну, уж... ха-ха... бедовый, право слово.

– Так вот тебя и поддену палкой-то, – говорил мальй. – Вишь, скалит зубы, как кобыла на овес... ну, что же ты?..

Баба закатилась со смеху.

– Бери, что ль, палку да поддевай, тебе говорят, лоханку-то. Понесем.

– Как я поддену? ишь ты, не даешь... О! да домовой те расшиби, – о-о-о... ха-ха-ха...

В это время вошла в избу хозяйка с подойником в руках. Баба с малым в одну минуту подхватили лоханку и понесли ее на двор.

– Посиди, Кузьминишна, – сказала хозяйка старухе, снимая с бруса ситцевый передник. – Вот иду доить; коровы только закусили.

– Хорошо, матушка, посижу, родная моя: мне спешить некуда.

– Кто это? – внимательно разглядывая купца на хорах, проговорила хозяйка.

– Я, – произнес он, выставив кверху одно

колени и держа правую руку поперек лба.

– Это Иван Осипыч. Да что же вы тут легли? вы бы в горнице: там есть кровать.

– Ничего, все едино; да я еще не совсем размундирился; полежать вздумалось, не больше того... после, пожалуй, перейду в горницу.

– В горницу перейдите; вас тут прусаки поедом съедят... намедни как-то я легла на печке... все ноги изъели... пятнами, пятнами... особенно это место...

– Ваш хозяин куда это пошел? – спросил дворничиху купец.

– Да кума проведать, Ивана Орефьича, на ту сторону. – Чудачина, – произнес купец. – Сейчас он со мною встретился в сенях; значит – темь хоть глаз выколи... и не узнает меня: щупает руками и спрашивает: «Кто это такой?» – «Я». – «Кто ты?» – «Да узнай», – говорю. Он теперича и принялся перебирать: «Гаврил Сидорыч, там... Семен Захарыч». Я ему: «Эно куда полез, говорю, а еще арихметчик... своего постояльца не узнает».

– Гм... – произнесла хозяйка, – он у меня такой... тоже иную пору и меня не узнает, когда в сенях придется; обыкновенно, темнота...

Вскоре хозяйка вышла.

В избе настала тишина; у стола по временам шипели в ведре горячие секретки, падавшие в него с нагоревшей лучины. За печкой однообразно чирикал сверчок.

Купец зевнул во весь рот.

– Что ж, старуха, замолкла? – сказал он, наконец. – Досказывай, чем кончилось дело.

– А спать-то разя не будешь? можа, я тебе помешаю?

– Ничего; я не засну еще долго; рассказывай.

Старуха крикнула и начала:

– Ну, слухай, касатик. Вот видишь ты это, я тебе сказывала, приказчик написал барыне письмо, как триста Рублев пропали.

– Да, да, ну?.. – произнес купец, поворачиваясь на бок и подкладывая руку под голову.

– Так вот дела какие: написал он. Петруши все нет, пропал, да и шабаш. Вот опосля крещения, слышим, снаряжают старосту, десятого, с ними мужиков – человек шесть – искать Петрушу. Мы думаем и дивуемся: что, мол, это значит? Вдруг заездили, искать да искать. Ну, это поехали они; на дворе уж было

голомя. Глядь, часа через два – везут его, голубчика, на санях, и прямо к барскому двору. Мы так и всполошились: скорей бежать туда... Гриша мой давно там; а я, известно, дело старое, ковыляю полегоньку; хоть и рада бы душенькой добежать поскорееча, да ничего не сделаешь. Подхожу к приказчикову дому: батюшки! народу целый полк; я это спрашиваю: «Где он, Петруша-то?» Говорят, у приказчика. А тут парни и мужики голдят мне: «Ну, бабка, прощайся теперь, Петрухе несдобровать: деньги украл. И диви бы, говорят, мужик блажной, а то смирный мужик: никто не чаял от него даже вот тебе дурного слова». Я... ах ты, господи... неужли это правда? а самое вот так и подмывает, так и подмывает; сердце вырваться хочет; тошно как, и-и... я спрашиваю: «Где его нашли?» Говорят: «Вот тут, за лесом идет по дороге».

– Куда ж это он шел?

– То-то я сама спрашиваю: «Куда ж он это шел?» – «А кто знает, говорят, можа шел и сюда, в село». Только промолвили это мужики, – вижу: он выходит из приказчикова дома, сходит с крыльца и вот худищий, прихудищий,



узнать нельзя: голову повесил, смотрит в землю, а по бокам идут староста с десятским. Я сейчас бросилась к нему и так и заголосила на всю улицу. Он, Петруша-то, говорит: «Не плачь, матушка, не плачь!» – эхма!.. ну, того... а я знай голошу. Тут староста говорит: «Садись, Петруха, я тебя довезу до двора». Он сел и баял мне: «Садись, матушка, вместе». Я прилепилась на наклейке[15], а сама залилась... и поехали. А с нами, не забыть бы тебе, ехал еще мужик – Фролка, высокий такой, здоровый: говорят, дубы с корнем дергал, когда был навеселе. Сошли мы с саней, приехачи-то; староста говорит этому Фролке: «Останься, мол, здесь с Петрухой: приказчик велел его караулить». Фролка с нами идет в избу, я смотрю... а у самой рубашка так и дрожит. Пришли мы в избу. Петруша помолился образам, поклонился нам, а мы ему поклонились. Дальше он обернулся к хорам и говорит: «Батюшка не выздоравливал?» – «Нет, говорим, сударик»; а старик весь в жару, так и мечется; одежду всю скопал. Петруша посмотрел, посмотрел, глянул на ребенка, – ребеночек-то спал на загнетке[16], – сел на коник, облоко-

тился на стол и, что ни есть мочи, залился слезами... так вот его и колышет; как река льется, сердечный, инды страсть глядеть... горя-то, горя что видели, кормилец, не приведи господи! Годя немного я спрашиваю у Фролки: «Что, дескать, родимый, зачем это Петрушу брали к приказчику, что он ему говорил? беспрерывно тут что-нибудь есть». – «Да аль не знаешь, говорит, его в солдаты везть приказано? от барыни пришел приказ». Батюшки! как услышала я это, так и не помню... словно он меня дубиной шарахнул. Подбежала я как раз к Петруше, повисла ему на шею и закричала благим матом: «Петрушенька, родимый ты мой, золотой ты мой! что с тобой хотят делать?»

Перед вечером, – о ту пору мы все были дома, – Петруша маленько остепенился, не плакал; а только все сидел, закручинившись, и бесперечь вздыхал. Я подхожу к нему, изобразила времечко, и говорю: «Петрушенька, касатик, не терзай ты моего сердечушка, скажи правду: ты взял деньги у скотницы ай нет? скажи, родной, я так и буду знать». Он, голубчик, поднял голову, глянул на меня, а слезы

так и брызнули из его глазухек... «Эх, матушка, говорит, матушка! знает одна моя грудь да подоплека, что я вынес за напраслину... бог с ними», – говорит и махнул рукой. Ну, ничего... что бишь?.. вот в сумерках посылаю Гришу к Варваре на барский двор, чтобы она пришла сюда к нам, последний вечерок хоть провела с мужем да помогла мне замесить лепешек, курицу оципать ему на дорогу. Теперича, стало быть, Гриша сходил на барский двор и говорит, что не застал ее. Маланья, старуха там проживала, – Маланьей звали, – говорит, что кажись, пошла в горницу к приказчику; «А я, – это Гриша-то, – ждал ее долго, да не дождался». Только Петруша на это и молвил: «Пускай уж, когда так, лучше не приходит, – не надуть». – она вечером так и не пришла. Вот перед тем, как зажигать лучину, Петруша говорит Фролке и Грише: «Ну, ребята, прощайте. Бог знает, коли увидимся. Знать, пришла неминучая, говорит... пойдёмте, так и быть, ребята, напоследках к Акулине...» – и взял шапку; Акулина, солдатка, шинок в то время держала от нас через два двора. Я... «что ж, голубчики, сходите себе!» уж рада, что

Петруша, можа, на время забудет юре; а день-жонки были: мы уж успели взять три целковых у десятского под жеребенка-стрыгуна. Я говорю: «Подите себе». Фролка молвил: «Как бы приказчик меня не увидал с вами в шинке-то?» – одначе ничего, пошел. Осталась я одна в избе: жуть после них такая... вот сем, думаю, потороплюсь, просею муку; хватилась – ночевок нет; поскорей надела чекмень Петрушин и пошла к соседке, чтобы кстати занять у ней яиц. Ну, там поговорила это с ней, заплакала и прихожу опять домой; скука такая, смерть... помню, отворила дверь, а мальчик-то проснулся, стоит подле двери, держится за притолоку и кричит, зовет меня, уж собирается плакать. Я взяла его на руки, и как мне его жалко было!.. дала ему яичко в руки забавиться и посадила его на лавку; а: сама стала вытирать чугуны. В избе глушь, никого нет; только сверчок за печкой жужжит да старик иногда залопочет... Припомнила я, вот так-то одна останусь, каждый день все так-то будет: все никого нет да нет. Старик не надежен, Петруша скоро сокроется с моих глаз – и замерещилось мне тут: как его повезут, пока-

тит он невесть куда, в дальнюю сторонушку... давай я плакать; вытираю чугуи и голошу, вытираю и голошу... Э-эх... а мальчик-то сидел, слухал, слухал, да как себе.

– Верно, смыслил, каналья, мальчик-от!

– И-и... где? еще несмыслечек был... вовсе махонький... ну, в это время вошел Петруша с мужиком и Гришей; увидал, что мальчик плачет, и говорит: «Чему ты, Федя? не плачь, братик». Вижу, хмельненок. Взял он его к себе на руки, да: «Ах затынем, говорит, ребята: „Сидит ворон на березе“? – любимая, бывалыча, его песня: вчастую все поет, как „пропадать тебе, мальчонка, в чужой дальней стороне; ты зачем это с своей родины бежал, ни у кого не спросился, окромя сердца своего, бросил мать свою...“ – да и тут же раздумал: „Нет, говорит, что-то не по себе, лучше даром...“ – и опять задумался. Фролка все у нас: известно, приставлен караулить; а Гриша около печки стоит, все смотрит... он о ту пору не пил ничего; а ходил с ними к Акулине так: все от Петруши-то отстать не хочется; вестимо, последний вечерок с ним проводит. Поужинали мы тут, тихо таково, скучно... собираемся спать;

Петруша стал раздеваться... „Ах, говорю, Петрушенька, забыла я тебе на ночь принести рубаху, кормилец ты мой. Что сделаешь? Из ума вон“». Ну, эвтим делом полеглись спать; я, почитай, всю ночь глаз с глазом не сводила. Пропели первые петухи; это слышу все. Старик так и мечется, кричит, что не след: перед зарей ему всягда хуже было. Вот вдруг слышу, кто-то стучит в окно; глядь, Петруша слезает с печи; а он, сердечный, тоже не спал. Я говорю: «Куда ты, Петруша?» Он: «Да вишь, говорит, стучит кто-то, пойтить отворить» – и пошел. А это староста; и дает Петруше приказ, чтобы он на рассвете был совсем готов, что лошади под него будут. Петруша входит в избу и говорит: «Матушка, ты бы печку затопила», – а сама слышу, он плачет. Как мне подступило вдруг тошно: душа с телом расстаётся... Ну, как раз я затопила печь, все поднялись; я это суечусь как угорелая: принесла из пуньки рубах, трое чулок, говорю: «Переоденься, Петруша», – и поставила ему отцовские сапоги: они были покрепче. Он стал одеваться; Гриша ему помогает, а сам утирает глаза; потом они оба примутся говорить меж-

ду собою полегоньку. Я смотрю на них, так-то рогачом подперевшись, а у самой слезы, слезы... перед господом богом... просто руки и ноги подкашиваются. Вестимо, кормилец, разя шутка?.. Соколы вы мои дорогие, голубчики сизые, где вы, касатики мои? По белу свету, на чужой сторонушке бродите... Оставили меня, горемычную, беззащитную... Старуха заплакала.

– Так что же? – произнес купец.

– Сейчас, кормилец... Молчание.

– Вестимо, – продолжала старуха, – разя не больно: свое детище всякому того... что бишь я?.. ну, это Гриша себе стал собирать, говорит: «Я провожу Петрушу до города». Я ему сказала: «Ты бы, касатик, у приказчика спросил, а то серчать станет, еще неравно побьет». Гриша пошел к приказчику, увидел там Варвару и наказал ей, чтобы она пришла проводить Петрушу. Немного годя они оба с Варварой приходят. А приказчик в то время еще не вставал: как быть? мы послали Гришу к старосте, хоть у него спроситься, староста говорит: «Не мое дело». Петруша и сказал: «Собирайся, не бойсь; брата да не проводить?»

Авось он едет не куда-нибудь на праздник; ступай, говорит, – запрягай свою лошадь, – поедем». Гриша взял и пошел. Ну, это к нам пришла невестка; пришла, помолилась образам, поздоровалась и стоит у двери, словно чужая, вестимо, уже одичала. Вот Петруша ей говорит: «Прощай, Варвара Борисьевна! не поминай лихом». Она молчит. «В солдаты разгуляться едем...» – это он-то ей. Она все молчит. «Так-то, говорит, теперь ты на слабодее... одна, погуливай...» Она знай молчит, голову повесила. «Эх, говорит, загубила ты меня! не миновал-таки неминучей дороженьки... оставайся, бог с тобою! верно, доля моя такая...» Глядь, она и прослезилась, – право слово! верно, в укор пришло. Дальше он ей говорит: «Поплакать у меня есть кому, вот что; да слезы, вишь, не помогают горю», – и замолчал. Тут вдруг старик опомнился; просит пить; опомнился и того... это с ним бывало редко: Почитай, все лежал в забытье. Правда, он приходил в себя и запрежа, вот когда Петруша бегал, да все ненадолго. В то время, бывалыча, я ему толковала: «Петруша, мол, бегают невесты где»; а он скажет: «А?..» – и смотрит...



«Петруша бегаёт, слышишь?» – «Кто это?» – спросил он. «Петруша». – «А-а-а...» – и опять в забытье, опять забормочет. Вот и тут тоже: опомнился он, я подаю ему пить и говорю: «Простись с Петрушей-то!.. едет в чужую сторону, – благослови его, простись», – говорю. Петруша подошел к нему и баял: «Прощай, кормилец батюшка! должно, николи тебя не увижу, – прощай!..» – обнял отца-то и зарыдал. Старик только проохал и залепетал, как ребенок, по-прежнему. Петруша стоит, плачет над ним, совсем убравшись. «Вот, говорит, и благословить некому». – «Поди, говорю, поди, касатик мой, – сама тоже голошу, – поди я тебя благословлю, все равно, и за отца и за себя». Сняла с божничка два образа и благословила его. Тут слез было, желанный мой, тут слез, что и-и... плачу сколько было... только входит вдруг староста и говорит: «Что, совсем?» – «Совсем, сударик». – «Ну, с богом!.. Лошади приехали... помолись, говорит, Петруша, да и ступай». Эх, пришла, родной ты мой, последняя минута. Петруша как обхватил меня, так и замер... «Прощай, говорит, матушка, родная моя! не оставляй в молитвах».

Я уж тут ничего не помню. Помню только: вышла я на улицу – на дворе метель такая была; Петруша сел это; санки покатались, заехали за плотину. Он сидит да машет мне, машет шапкой-то, все машет, дескать... ну! все машет... Гляжу, и совсем скрылись. Грохнулась я наземь и долго годя очнулась, когда меня принесли в избу.

Соколик ты мой! Вот другой год и весточки не шлет, – заключила старуха, потупилась, крепко зажала рукой глаза и зарыдала.

Долго раздавался в пустой избе ее глухой, бессильный плач. Длилось молчание; купец продолжал лежать навзничь; сидя на лавке под окнами, в которые равномерно барабанил крупно дождик, спала девочка, запрокинув к стене свою голову.

Лучина начинала гаснуть; старуха, как будто очнувшись, наскоро отерла полую зипуна свои глаза, поправила светец и села на прежнее место, поддерживая концы головной тряпки у своего подбородка.

– Охма-хма... Я тебе говорила, что если бы старшего не отдали – и младший не пошел бы. Оно так вот и прилучилось. На другой

день, после отправки Петруши, старику сделалось так плохо, так плохо, что и сказать нельзя: охает, мечется в разные стороны, то туда бросится, то сюда. Вижу, дело не ладно; пошла за священником. А Гриша еще не обращивал из города. Не то чтобы было далече, а он там дожидался, пока Петруше забреют лоб. Ну, ничего; сходила за священником. Пришел причт. Исповедовали старика, дали глухую исповедь, причастили, особоровали. Перед обедом он богу душу отдал – царство ему небесное! Какой был старик-то... Ума сколько, право слово... я его смерть боялась.

Что ж? мы жили с ним хорошо. Ну, вот мы похоронили его. Гриши все нет, и помочь было некому. Невестка как проводила мужа, так ни разу и не пришла ко мне. Я к ней тоже не ходила. Позвала я тут родных: все больше кумушки у меня, куманьки там... сватьюшки. Аграфена Федоровна Ухабовская была, это Егор Петрович, Анна Егоровна – дьяконица. Много было народу, всех не пересчитаешь.

Вечером, опосля похорон-то, гляжу это, приезжает Гриша. А ему уж сказали там на селе, что, мол, отец твой помер. Вот он не от-

пряг еще лошадей, летит в избу, сердечный. «Матушка, говорит, батюшка помер?..» – «Помер, говорю, голубчик мой, соколик ясный, помер. Видно, на то воля божия...» Он посидел, посидел за столом, потом как махнет рукой: «Эх!» – говорит, – и ушел из избы. Закручинился малый, – беда, закручинился как...

Проходит месяц, другой. Мой Гриша в избу, почитай, отвык ходить; только ночевать придет. А то сидит на огородах али в овин забьется – и кто его знает, что он там делает? Вестимо, должно, все плачет. И Петрушу-то жалко, ведь, бывалыча, шагу без него не делает, и отец-то помер – поневоле запечалишься да загорюешь.

Дальше-больше, проходит весна, лето, Гриша в одном положении. Бывалыча, станешь его уговаривать: «Что ты, Гришенька, того... горем не поможешь...» – куды!.. малый как раз возьмет и уйдет. Вот наступила осень; свозили, убрали рожь, овес. Только слышим – что ж слышим? – скотницы деньги нашлись. И не то чтобы нашлись совсем, а разведали, что их украл конторщик. И каким побытом?.. Тут-то мы вспомнили Петрушу... Ах, мол, Пет-

руша, Петруша! стиб понапрасну. Ну... дело было вот как: повадился конторщик ходить к скотпицной дочери. А она, я тебе баяла, с дуринкой; была такая нескладная, бог с нею, девка; окромя там, известно, работы, чего другого... Вот повадился. Ходит раз, другой к ней и прочухал, что у ее матери есть деньги. Можя, сама дочь же проболтнулась ему про них. Он стал ее замасливать, уговаривать, что я тебя замуж возьму, пятое, десятое... Девка поверила и, должно, тут как-нибудь проболтнулась, что деньги в холстах. Он, не будь дурен, и схапал их. Обыкновенно, не наше дело осуждать, – бог с ним; да вот Петруша-то пошел ни за что, как есть. Враг ажио ль силен. Тут все мужики так и ахнули; все вот наповал толкуют про Петрушу, перед господом богом. «Ах, Петруша, Петруша!» Бывалыча, придут ко мне, говорят: «Срезали твою головушку ни за что ни про что». А больше озлобились все на приказчика. Известно, дело прошлое; а ведь и вправду он всему виной.

Только что после этого прилунилось, родимый ты мой? – такая беда, такая сокруха, что и на поди... Гриша... то-то молодость, обыкно-

венно, неопытность – незнакомка... что бы так, того... а то... видишь ли – он, Гриша-то, горевал, горевал по брату да по отцу-то, – ну, вдруг, Как узнал, что деньги нашлись, что Петруша изведаль напраслину, думать, думать, да и задумал... о, ихма, ихма... Ну, я тебе баяла, что он почитай со мной не сидел дома, а бродил невесть где. Вот одна сию я долго вечером, – пряла; сию и думаю: «Где ж, мол, это Гриша? бывалыча, он приходил ужинать, а теперича давно ночь на дворе – его нет. Да сем, думаю, закушу одна; ему оставлю». Только я и поужинала без него, убралась, стало быть: потушила лучину, а сама легла спать. Признаться, мне тогда вовсе не спалось: дума одолела, и тут же зубы болели; так, бывалыча, и ноют... Вот лежу я, не сплю; уж за полночь дело, слышу: кто-то колотит в дверь, так колотит, что вся изба трясется; поднимаю голову: пуще, пуще... Сейчас вскочила я, вынула из горнушки[17] лаптенки; пока обулась, пока что... никак ничего не сыщу. Выбегаю в сени, отворяю: что ни есть мочи кричит какой-то мужик: «Бабка! твоего сына поймали!..» – «Где поймали, как?» – «На барских скирдах... под-

жигать хотел. – Ну!..»

– Что это ты такое рассказываешь, Кузьминишна, – входя в избу, сказала дворничиха. – Вот тебе творожку и молочка. Возилась, возилась, тряс ё расшиби...

– И-и, желанная ты моя! дай бог тебе здоровье, касатка моя, – воскликнула старуха, с неизъяснимым выражением благодарности глядя на горшок с чашкою в руках хозяйки.

– В закутах[18] грязь какая ужасенная... проходу совсем нетути. Как ты пойдешь, Кузьминишна? дождик полил словно из ведра.

– О-о... – произнесла старуха, покачивая головой. – Небойсь сильный?

– Да, силен. Что ж это Иван Осипыч так и не пошел в горницу; ишь растянулся. Иван Осипыч, Иван Осипыч! – толкая купца, твердила дворничиха. – Прусаки вас тут поедом съедят.

– Аль он заснул? – спросила старуха.

– Да, вишь, как заснул, и не растолкаешь. Иван Осипыч, Иван Осипыч, эй, Иван Осипыч!

Дворничиха дотолкалась-таки до того, что

купец забормотал: «Рассказывай, рассказывай! я слышу», – и повернулся к ней спиной.

– Вестимо, намаялся, сердечный, – проговорила старуха. – Чай, все в дороге да в дороге, нешто она шутит?

Через минуту старуха, попрощавшись с дворничихой, вышла из постоянного двора.



# Примечания

# 1

*Дворник* – здесь: хозяин постоянного двора.

[^^^]

*Пехра* – мужичье (обл.).

[^^^]

# 3

*Каляниться* (или *калячить*) – канючить, докучать (обл.).

[^^^]

# 4

*Сердохрестная* – то есть средокрестная, четвертая неделя великого поста.

[^^^]

# 5

*Михайлов день* – 8 ноября по старому стилю.  
*Мурогая* – мрачная (обл.).

[^^^]

# 6

*Коник* – крытая лавка в избе; обычное место хозяина.

[^^^]

*Подзатыльник* – сборка у кокошника.

[^^^]



# 8

*Счунять* – журить, усоветчать (обл.).

[^^^]

*Истованный* – истинный, настоящий (обл.).

[^^^]

*Буздать* – здесь: наказывать (обл.).

[^^^]

*Залавок* – глухая лавка с подъемной крышкой у двери крестьянской избы.

[^^^]

# 12

*Хоры* – здесь: полати в избе.

[^^^]

# 13

*Талька* – моток ниток определенной длины.

[^^^]

*Дикая... рубашка* – то есть рубашка серого цвета.

[^^^]

*Наклеска* – продольная грядка телеги.

[^^^]



*Загнетка* – место, заулоч на шестке русской печи.

[^^^]

*Горнушка* – место, влево от шестка, русской печи, куда загребают жар.

[^^^]

*Закут* – хлев для мелкого скота.

[^^^]